Любовь Соколова

Зязелга

В пермском издательстве «Траектория» выходит книга прозы журналиста Любови Соколовой «Записки взрослой женщины». С любезного разрешения издательства «Вещь» публикует журнальную версию повести из дебютного сборника автора.

Редакция

Зимой 1929 года

Моего прадеда Якова Швецова не раскулачили и не сослали. Просто выгнали из дому. Пришли морозным январским утром 1929 года. Устроили коротенький митинг — корявые лозунги покричали под окнами — и принялись грабить. Десятимесячную Валю вытряхнули в сугроб из люльки, в которой она качалась на крюке под матицей. В люльке сидело четверо ребятишек, трое сами выбрались, как только лопнула перепиленная лезвием топора веревка, и короб свалился на пол, а Валя клещом впилась в тюфячок, пришпиленный к донцу, и молчала, пока односельчане волокли на двор кулацкое добро. Заревела, задохнувшись сухим январским снегом в сугробе. На крик метнулась золовка — жена старшего брата, выгребла, завернула в тряпки, спасла. Ничего этого маленькая Валя помнить и рассказать не могла, однако подробности грабежа в деталях передавались изустно от поколения к поколению по женской линии вплоть до правнучки ограбленного мельника, а дальше уж и помнить про это стало некому. Обида иссякла. Валя, когда кончилась советская власть, обратилась в сельскую

администрацию, заявила права и получила компенсацию утраченного имущества в размере двух с половиной миллионов неденоминированных рублей. Случилось это в 1997 году. В стране началась очередная денежная реформа. Российские деноминированные в 1000 раз отличались от предыдущих по номиналу. Валя не могла понять, много или мало дали ей денег за отцовский разор. Миллионы старых казались на слух больше приравненных к ним тысяч новых рублей. Кто кого больше, старый рубль, новый рубль? Оба в ходу. Сравнила с пенсией — за полгода как будто бы получила. Купила досок на дачу для обшивки сарая, хватило ещё и за доставку заплатить, на том успокоилась. Делиться не пришлось. Валя из наследников по прямой последняя. Всё ей досталось. Доказала, с некоторым даже превосходством над сестрами, рано ушедшими в мир иной, что в России надо жить долго: чего-ничего, а может, и дождешься.

Валя была младшим, восемнадцатым ребенком Якова и Феофилакты Швецовых. Жена мельника носила мужское греческое имя по причине малограмотности местного дьячка, плохо разбиравшего тексты святцев. Для краткости называли ее в деревне Феоной, а дома — Фоней. Женской плодовитостью Фоня искупила ошибку, закрепленную в документе. Начиная с 1905 года приносила она почти поровну мальчиков и девочек, как-то родились у нее двойняшки, да не выжили. Одиночные ребятишки получались более-менее ладные, хотя порой Бог прибирал их в младенчестве, но добрая дюжина достигла в конце концов настоящего возраста. Половина птенцов вылетела из родового гнезда до того, как наступил тот самый горький день: кто замуж, кто — на заработки. Куда двинулись, где осели, сейчас не установить. В шкатулке — тоже сам Яков резал ее из липы — хранились кое-какие письма с обратными адресами. Шкатулку кто-то из «кулачивших» прибрал в то утро. Письма пропали. Да и ни к чему потом все это было. О чем писать? А после войны осталось детей Швецовых по пальцам одной руки сосчитать, кто где лег и похоронен ли, в такой большой беде не разберешь. Сыновей выжило двое, и достаточно. Один с фронта вернулся контуженый, сильно пил и сошел с ума в белой горячке. Другой развивался по партийной линии, отрекся от отца-матери, в шестнадцать лет стал председателем сельсовета, сразу вступил в партию, пошел на повышение, в войну руководил тыловым райисполкомом, немного посидел в лагере, был реабилитирован, снова работал и закончил дни в хорошем городе Симферополе, оставив после себя не слишком многочисленное, но добротное потомство. Щвецовых дочерей до старости дожило трое: Катя, Валя, Таня.

Катя, самая старшая, с осени 1928-го жила в Городе, а в той люльке, что Яков собственноручно изготовил и отполировал, и пропитал льняным маслом, и расписал красками, и украсил резьбой, сидели две младшие, Танька с Валькой и два внука, от сыновей, которые женившись проживали с родителями. Места в двух избах Швецовым хватало. Яков и не хотел отпускать молодых, мельчить земляной надел, сводить скотину со двора. Молодухи помалкивали, сыновья хмурились — терпели. Мельник не сомневался, на воле агитаторы тут же обратали бы их, затащили в колхоз вместе со всем нажитым добром. А добро в большой семье было такое: маслобойня механическая, сделанная по собственным чертежам в основном из дерева. Две лошадки, пять коров в запуске, одна с теленком, да еще бычок; без малого сотня овец, две дюжины кур, гусей и уток оставили в зиму на развод по дюжине, а битой замороженной птицы точно не считано, много. В чистых бочонках круги намороженного молока, в других — круги масла. В подклети кадки с капустой, брусникой, грибами. Две свиных туши, одна только наполовину съедена. Пять кулей с пельменями. В амбаре — зерно фуражное, зерно семенное; мука — гречневая, пшеничная, ржаная, овсяная. Еще в подклети сложена была шерсть чесаная, нечесаная, а также пряденая, половики тканые не считаны, в рогожах перо и пух перины набивать, да

станок еще ткацкий с разными валиками стоял во второй избе. Это помимо мельницы, которую Яков держал на паях с одним крепким мужиком из большого села Печмень, но мужик съехал в город, забрав только часть пая мукой и солониной, да так и сгинул.

Выносили добро долго, грузили на колхозные подводы. Когда повели теленка, он заревел, сердце надорвалось у Феоны, а разбойник, тащивший за ворота реквизированный самовар, снял с самовара краник и сунул теленку в зубы, тот и подавился, захрипел, забился в веревках. Мужик с самоваром хохотнул и бодро побежал дальше, не думая, зачем ему самовар без краника, зачем покалеченный теленок. А ладно — не себе ведь брал, «для обчества», «обчеству» и так сгодится. Яков этой сцены не видел, он лежал под высоким крыльцом, глядя на балясины, собственноручно им точеные на токарном станке давным-давно, еще в первые годы жизни в новом доме. А может и не глядел на балясины, а так лежал — пустыми глазами уставившись вверх, потеряв скатившуюся с головы шапку. Может, и не видел ничего.

Яков больше в жизни слова не сказал. Удар с ним случился, не мог ни говорить, ни ходить, ни шевелиться. В сумерках Фоня погрузила мужа на салазки, застегнула на нем ношеный чужой тулуп — хозяйский-то сорвала шантропа. Утащили вместе со всем добром не только тулуп, но и добрые валенки, пришлось ноги рваниной укутать поверх битых молью чуней, завалявшихся в сарае. В дом, выстуженный грабежом, уже вселился главный деревенский бедняк Егорка вместе со своим золотушным и наредкость сопливым семейством. Так вышло, что в егоркиной семье сопливы оказались и малые дети, и жена и приживалка-теща. Они тем и славились на деревне, что сморкались наотмаш через улицу длинными зелеными соплями. «Захаркают и двор и пол», — подумала Фоня напоследок, глядя в свои-чужие окна. Кто из родных куда девался, Феофилакта не знала или не помнила, или не хотела знать. Впряглась в санки, груженые обездвиженным мужем, перекинула котомку с краюхой черного хлеба через плечо и пошла по синей, в глубоких тенях, дороге прочь из Зязелги. Вернулась к Масленице. Одна. Что с ней было, где скиталась и как похоронила Якова, не рассказала. Нашла Таньку с Валькой, забрала и поселилась в избушке на одно окошко, стоявшей на задах длинного огорода доброй вдовы-колхозницы. Сама в колхоз не вступила. Однако на работу подряжалась. С клочка земли, что раскопала весной возле избушки, троим не прокормиться, а трудодни служили хоть и тощим, но все же подспорьем.

В Мотовилихе

Старшая дочь Швецовых Екатерина осенью, накануне раскулачивания, вышла замуж. Ну как вышла — выдали! Да еле выдали-то. Первенцем Катя оказалась неудачным. Рано потянулась к наукам, арифметика и письмо давались ей, с удовольствием читала книги, порой вслух. Книги разные: сказки, исторические очерки, житие святых и, наконец, само Святое Писание. Буквы разбирала легко и с мрачным усердием складывала их в непонятные слова, составляла из слов, ошибаясь, порой в интонациях, тягучие фразы. Светлела душой. Работа деревенская, понятная и веселая, наоборот, ее тяготила. Следом за Катей в семье появились пацаны-погодки, на радость родителям бойкие и крепкие, как поросятки, за ними снова на свет пошли девочки. Вот им-то и читала Катя книжки вслух. На сезонную работу Швецовы нанимали батраков, не было нужды старшую девку нагружать сверх меры, поручали ей самое простое, полы мыть-скоблить да когда-изредка двор мести. Она, книг начитавшись, задумавшись, бывало так посреди недомытого пола и заснет. Крестьянских надежд на нее не возлагали, даже посмеивались, мол, кто как, а наша Катька через грамоту в люди выйдет. Однако и в люди Катя не торопилась, росла замкнутой. С десяти лет записалась в церковно-приходскую школу в селе Печмень, увлеклась изучением библии, одно время зачитывалась до того, что пряталась по углам от нечистой силы. Когда пришла в себя — в церкви ее специ-

ально приезжий батюшка «отчитывал» сутки за солидные по тем временам деньги, два целковых, — осознала грех богатства и никогда уже более с этим грехом не мирилась.

Достаток родительской семьи тяготил Екатерину. Огорчала страдная с утра до ночи работа, следствием которой становился все тот же достаток, неуместный в жизни православного христианина, лишний, греховный.

У грамотной девушки от высоких мыслей и большого знания часто болела голова. На покосе она, помахав без усердия косой до полудня, укладывалась спать в холодке и больше уж не поднималась, ссылаясь на сильное кружение. С жатвой, когда серпом в наклон надо орудовать, того хуже выходило — свяжет пару снопов и валится с ног. Отец сердился: «Зря только немочь место на телеге занимает, возишь ее туда-сюда без толку, пусть дома сидит». Но дома Катю оставлять получалось накладно. Шли мимо погорельцы, христовы странствующие люди или иные побирушки, она раздаривала семейные припасы с такой щедростью, что угрожала оставить родных голодом. Все от убеждения: грешно сытым быть, когда другие нуждаются в куске хлеба. Катя очень рассчитывала на царствие небесное, в которое богатому пройти тяжелее, чем верблюду в игольное ушко. Старалась избавить близких людей от лишнего блага на этом свете ради высшего блага в загробной жизни. «Нам не дом домить, не богатство копить», — с этой поговоркой, подхваченной у прохожего старичка-странника, она прошла до конца своей достаточно долгой жизни.

Куда ж пристроить дочь, не годную не в дому, не в поле? Собирать грибы или ягоды Катя старалась. Дело не противоречило божественной философии. Но и тут без особого результата: корзинку опрокинет, с туеском в воронку завалится. Воронки карстовые в этой местности богаты дикой душистой клубникой. Собирают так: сбегут вниз, и до верхнего края поднимаются, разнимая руками траву, выбирая из нее белобокие ягоды. Катя вялым телом больше клубники замнет, чем соберет, а ту, что соберет, не донесет до дома, подарит кому-нибудь либо сама съест ненароком, спохватится — а поздно.

О том, что девка с причудой, в округе знали и не сватались. В 23 года она, ни разу не целованная, объявила о намерении стать христовой невестой, да монастырей не осталось. Последний мужской на Белой горе был разорен, братия разбежалась. Яков, отчаявшись, решил дать за ней очень хорошее приданое, только чтоб на вывоз куда подальше, чтоб новой родне в глаза не глядеть. Никудышную девку с рук сбыть, все равно что обман с цыганской лошадью провернуть, потом сраму не оберешься. Сваты приехали в Зязелгу за тридцать километров, из деревни Ломь, что в соседнем уезде. Жених как увидел Катю — в плотно повязанном белом платке, толстоватую, круглолицую, с круглым же носом посреди лица, с круглыми бровями и круглыми румяными щеками, сразу приуныл. Пресная девка, не понравилась. А ведь у Кати еще и ноги колесом оказались, от того на ходу она смотрелась низкорослой, а на скамье сидела до пола не доставая новенькими чистыми лаптями. Про нижнее невестино особенное устройство Димитрий в первую встречу не узнал. Катя носила длинные в пол юбки, косолапость выдавала только походка вразвалочку, а при сватах она даже на стол накрыть не встала с лавки — дичилась. Но это все было ничего — за Екатериной давали железную кровать с никелированными шишечками и граммофон довоенного производства. Димитрий осмотрел кровать, попробовал пружину, пересчитал подушки, и согласился, пусть невеста его старше на пять лет: «Ничего, нам не в метрику смотреть, тем более что еще и граммофон».

Вскоре после свадьбы молодые отправились в Город, муж получил комнату в семейном бараке при Мотовилихинском заводе, куда устроился по вербовке разнорабочим с перспективой выучиться на водителя грузовика. Выучился, права получил, квалификацию оформил. А Екатерина стала вести хозяйство и приготовилась рожать, поскольку Богом сказано: плодитесь.

Беда, приключившаяся в Зязелге с родителями, прошла стороной. Катя узнала о раскулачивании только весной, от одного из братьев, приехавших в Город искать новой жизни. Димитрий к тому времени уже зарекомендовал себя на заводе, вступил в партию по какому-то там призыву; дали молодому коммунисту новенькую полуторку, стал перевыполнять план и выступать на собраниях. Известие о том, что женат на подкулачнице, сразило его, как удар в поддых. А ведь мог бы и догадаться, что не все чисто в невестином роду. Откуда богатство? Купился на кровать с граммофоном. Виноват? Жестокий 1937 год еще не наступил, но публичные суды и разоблачения вредителей шли полным ходом. Могли донести на него. Не знал, как лучше поступить, скрывать происхождение супруги или пойти признаться, самому на себя стукануть. Страшно переживал от неопределенности, начал выпивать. Выпивка подействовала подло: отчаяние оборачивалось злобой. Димитрий стал поколачивать жену, вроде как по мотивам сугубо политическим. Опять же если спросят, скажет: «Перековывал». А кто спросил бы? Жен соседи по бараку лупили не только в день получки, а в любой праздник. Бабы только радовались, гордо светя фингалами: бьет — значит любит, неравнодушен.

Опасные вести из Зязелги до завода так и не дошли, шофер-передовик остался безнаказанным за связь с чуждым элементом. Однако привычка поднимать руку на безответную жену закрепилась. Способствовало тому Катино упрямство. К себе она мужа допускала редко. Плотский грех ставила выше того греха, который свел в могилу отца, всю жизнь положившего на обретение сытости и достатка. Телесный контакт с мужем попадал под запрет в пост, по пятницам и по специальным церковным дням, а таковых набиралось в православном календаре что-то слишком много, и еще — в воскресенье. Димитрий подолгу оставался без супружеской ласки и сильно переживал, смирно лежа на богатой кровати с никелированными шишечками, тогда как безбожное население барака запретных календарей не придерживалось. За хлипкими дверями и перегородками оно стонало и билось на топчанах, на тюфяках, на нарах, давая волю единственно доступной, никем не нормированной пока радости. Димитрий включал граммофон, чтоб заглушить звуки, возбуждающие ненависть к жене, истово молившейся в углу.

В разрешенные ночи муж брал свое, вырабатывал нерастраченную животную способность к воспросизводству. Катерина, не состоявшаяся Христова невеста, каждое соитие принимала как посланное Богом испытание, плотской возбуждающей радости себе не позволяла, не отзывалась на мужнины грубоватые ходы и ласки ни звуком, ни телесным трепетом. Только ноги, того не желая, ловко закидывала ему на спину. Получалось будто она сама нарочно, поощряя мужнино срамное старание, пятками елозит от крестца до лопаток и обратно. Димитрий каждый раз дивился, как ловко устроено нижнее «колесо» набожной жены. Но таково его шоферское счастье, кому четыре колеса, а ему выкатилось от судьбы пятое. Нравилось ему ощущать себя в этой округлости, бывало до пяти раз за ночь уестествлял супругу. После каждого захода Катя кидалась в угол перед иконами, просила у Господа, чтоб избавил от лиха, но равнодушный Бог вставал на сторону венчанного ее господина — мужа, и пока тот не насытится, Катя закидывала и закидывала на потную спину кривые ноги. Смиренно ждала поста. Оправданием всему служила беременность. Катя унаследовала от матери плодовитость. Дети получались один за другим с правильными паузами между родами. В 1929-м году — первая дочь, спустя 4 года — еще одна, а с 1935-го по 40-й пошли мальчики, трое. Жизнь налаживалась. В конце лета Димитрий хотя бы раз, а то и два-три раза гонял полуторку в порт, привозил полный кузов арбузов, угощал весь барак. Троица старших ребятишек ходила грудь колесом: «Наш папка — самый лучший папка во всем бараке!» А кто бы спорил? Привозил Димитрий на зиму дрова себе и соседям. Шабашил слегка. За это его любили. Жена кое-

как терпела, кое-как вела хозяйство. А сам он махнул рукой на все, лишь бы ребятишки были сыты и здоровы. Бабу можно и на стороне пригреть, только нехорошо это для партийного коммуниста, а как иначе?

В 40-м отметил тридцатник, заматерел. На празднике — а пирушки Димитрий собирал часто в своей вовсе не казавшейся тесной комнате 18 квадратных метров, на треть занятой печкой, — младшая дочка Галочка пела модную песенку. Граммофон, полученный в приданое, работал исправно, да пластинок было не достать. Новые песенки Галочка выучивала по радио. Шестилетнюю кудрявую девочку ставили для выступления на табуретку. Она была уже знатная певица, правильно выводила мелодию, четко произносила и никогда не путала слова. Пела она в тот раз «Катюшу».

День рождения Димитрия пришелся на Страстную седмицу. Катерина ходила вокруг печки уточкой, лицо мрачнее тучи. Грех пить, и плясать, и петь, даже разговаривать громко грех в эти дни, а муж разгулялся. Когда Галочку в очередной раз запросили снять с полатей, чтобы исполнила «Катюшу», Катерина воспротивилась, расставила руки, подалась животом вверх, она тогда носила пятого ребенка, задыхаясь шепотом закричала: «Не дам! Грех! Грех это!» Ей мерещился, должно быть, страшный суд, но до суда до того еще предстояло дожить, дотерпеть, домучиться. Димитрий же, не вступая в переговоры, поднялся из-за стола и ударил жену кулаком в круглый нос так, что она опрокинулась и откатилась под кровать. Ушиблась больно и животом, и всем телом, лежала там до конца попойки, утирая жижу, вытекающую из разбитого носа. Молчала — не завыла, не всхлипнула.

Галочку достали с полатей, и она, сама не своя от страха, спела опять «Катюшу». Почему-то страшно было за папку. Получалось, что из-за мамки папка нехорошо поступил, будто бы зверем сделался. Галочка понимала, что, распевая «Катюшу», мамку, лежащую ничком под кроватью, обижает, но ей не жалко было мамку, и от того, что не жалко, становилось страшно за себя, за то, что она сама тоже плохая. С тех пор Галя «Катюшу» ни разу не пела, даже когда взрослая стала и другие в застолье или на праздничной демонстрации пели, старалась отойти, чтоб не слышать, не участвовать. Песня пробуждала в ней нехорошее чувство, она испытывала отвращения к себе самой, и злую жалость к нелюбимой матери, и обиду на отца. Справедливая Галя никогда не простила себе, что пела, когда мамка битая под кроватью валялась. Встала на сторону сильного, но ведь и мамку слабой не назовешь. Она ведь не отступилась от своей веры, хотя знала, что добром бунт против мужа не кончится. А Галя разве стала отступницей, выполнив волю отца? Мамкина истовая вера никогда не была ее верой. Клубок безответных вопросов всплывал из глубины пораненной души и душил, душил, душил. В тот вечер шестилетняя девочка будто лишилась детской безответственной невинности, примерив на себя тяжесть выбора, к которому была еще не готова, выбора, в котором куда ни кинь — всюду клин. В ту же ночь Галя свались в горячке с невозможно жуткими кошмарами: идет она по коридору, коридор всё уже и уже становится, теснит ее, изгибается змеёй, а в самом конце дверца с игольное ушко, не пролезть вперед и никак назад не двинуться. В зрелом возрасте догнала ее клаустрофобия, просочилась из больных детских кошмаров в обыденную жизнь. Галина Димитриевна, проживая на восьмом этаже, боялась ездить в лифте. А тогда девочка еле выжила, перемогла тяжелую фоликулярную ангину. Обошлось без осложнений, голос сохранился, только петь Галочка долго отказывалась, никто не понимал, что все-таки с ней произошло и что с ней дальше будет. А будет вот что. Пройдет много лет, и в художественной галерее она увидит портрет женщины с блюдом, на блюде — мертвая голова мужчины. Прочитает на табличке с непроизносимым итальянским именем «Иродиада с головой Иоанна». Вспомнит мамкины страшные сказки про то как Саломея танцевала и просила за танец принести ей голову Крестителя. Всмотревшись в портрет, желудочной

судорогой отзовется на библейский сюжет. Неужели она сама как Саломея?

— Нет! — скажет Галина Димитриевна и топнет ногой так, что задремавшая смотрительница зала встрепенется, посмотрит с тревогой по сторонам.

— Да! — молча скажет ей с портрета древняя дама, держащая на блюде подарок царя Ирода.

С той поры странное выражение лица будет ловить Галина в своих мимолетных отражениях: то в посуде, вычищенной до блеска, то в витрине, то в автобусном стекле… Но разве была на ней вина? Нет, просто стечение обстоятельств и горькое детское бессилие. Но как простить себе? Так и не простила.

На той же неделе, вскоре после попойки с дракой, папка принес любимой дочке красные туфельки, кожаные, с ремешком. Туфли оказались велики. Лизка схватилась было примерять, но папка пригрозил, мол, не смей, сестре туфли на вырост, в новый год на елке выступать. Димитрию тогда уже ясно стало, что Галочка будет артисткой, но росла медленно, туфли только через год стали ей почти впору.

Обида

Мой дед Димитрий ушел на фронт в конце августа 1941 года. Нет, не добровольцем, а по призыву. Пятеро детей, жена, не способная ни к любви, ни к работе, на кого их добровольно-то оставишь? Дождался повестки. Сначала думали, война ненадолго, а потом стало ясно, что призовут. На вокзал провожать Катя поехала со всем выводком: Лизка тащила годовалого Генриха, трехлетний Рудик шагал, держась за подол матери, а Толика, ему пять еще не исполнилось, вел за руку отец. Не взяли только Галочку, мать велела прибрать комнату после прощального застолья. Девчонка ловка была в уборке, нравилось ей красоту наводить. И ведь у кого набралась? У Галановых! Тоню Галанову в бараке недолюбливали. Не ладно жила Тоня, не полюдски, даже никогда мужем не бывала бита. В кино часто ходила, а порой и в театр. Муж на чистой работе состоял, в ОТК, почти что инженер, только без образования. Одевались Галановы фасонно, летом — во все белое; зимой — в длинные, до щиколотки, пальто с воротником из цигейки и каракуля. Детей воспитывали тихо, и дети у них получились какие-то ненормальные, что мальчик, что девочка всем встречным говорили «здрас-сьте», не стеснялись взрослых, разговаривали между собой длинными предложениями. В 39-м Тониного мужа «забрали», вернулся перед самой войной, на работу устроиться не успел, как снова куда-то девался. Зинаида, которая обычно все знала, только глаза под лоб заводила, когда спрашивали ее, где Галанов. Первый донос она сама написала, даже и не таилась. Весь барак знал, кто у них пишет доносы. Знал барак и побаивался Зинаиду. Заведено было подносить ей к праздникам презенты: платок либо гребенку, а то — кусок колбасы, сала шмат, самогон, если кому из деревни присылали. Не отдаришься — жди воронка под окна. Зимой 41-го, когда немцы стояли под Москвой, Зинаида объявила, что сдаст всех. Пьяная шаталась по бараку, пинала в двери, выкрикивая: «Здесь коммунист живет, здесь комса окопалася, и здесь коммунист-активист-большевистская сволочь, про всех все знаю и на всех покажу, пусть только немцы придут». Так вот, сама Зинаида не знала тогда, куда подевался Галанов. Неосведомленность рождала нелепые предположения, соседи сторонились. Тоню не жаловали, и детей не привечали.

А Галя к ним ходила. Дружила с Галановой Ниночкой, одноклассницей. Очень привлекало ее убранство комнаты. Везде у Галановых лежали строченые салфетки, жестко накрахмаленные, ослепительно белые. На салфетках стояли статуэтки или вазочки. Галочку интересовало, как такой белизны добиться, да как накрахмалить, да где такое шитье берут. Оказалось, Тоня сама на машинке вышивала, себе и на продажу. Галочка решила, что вырастет и заведет швейную машинку, а крахмалить и подсинивать белье тут же попробовала, у нее получилось. Только мамка не разрешила.

Галочка под присмотром тети Тони сама вышила себе воротничок на купленное давно, еще к Первому мая серенькое платье, накрахмалила, отутюжила. Надела красные туфли, они к тому времени все еще были чуть великоваты, собралась на вокзал. Но ее не взяли! Мамка назло не взяла, чтоб отцу досадить, потому что она, Галочка, — папкина любимая дочка. Уходя, он ей велел братьев беречь. Кому еще доверить? Лизка только и знает, что давать затрещины. Мамка молится, ничего вокруг себя не видит. Одна надежда на нее, на маленькую взрослую девочку. Галка мыла посуду и горько плакала. Через неделю мамка поехала в Кунгур, где на сборном пункте в сосновом бору за железной дорогой отец проходил учебные сборы, дожидаясь отправки на фронт. Зачем ездила — неизвестно, только Галю опять с собой не взяла. Так и не встретилась с папкой до самого 1946 года, когда он приехал в Зязелгу забрать в город Галку и Толика.

В Зязелгу пешком

Первая военная зима закончилась плохо. Два младших брата — Генрих и Рудик — умерли, оба от поноса. Галя стеснялась иностранных имен, поэтому потерю братьев пережила с некоторым даже облегчением. Приходилось из-за них часто врать. В продуктовой очереди все время кто-нибудь спрашивал: сколько тебе лет, как братика зовут? Они с Лизкой договорились называть Генриха Геной, а Рудика почему-то Витей. К началу весны, еще снег не сошел, обоих мальчиков не стало. А после сорокового дня, как раз цвела черемуха, объявилась в бараке бабушка.

Бабушка Феофилакта пришла из деревни, чтоб в деревню же и увести городских внуков Лизу, Галю и Толика. Буквально пешком. Собрались быстро, а шли, наверное, неделю. Да больше! Километров двести шли. Подсаживались кое-где на подводу, ночевали у крестьян в сенях и на сеновалах. Отцвела черемуха, за ней калина, и одуванчики тоже отцвели. Ночи стали совсем короткими — прежде Галя такого не замечала, а в дороге очень даже заметно стало: спали они пока темно, и никак не успевали выспаться, потому что коротки ночи в июне.

Бабушка Феофилакта (велела звать себя баба Фоня) была страшноватая: вся в черном, волосы тучей — кудрявые, седые; нос тонкий, длинный, глаза глубоко посажены, щеки впалые. Внуки, никогда прежде про бабушку не слыхавшие, заподозрили, что она ведьма и может их съесть в конце концов. Про избушку на курьих ножках они читали и все ждали, когда баба Фоня, углядев на опушке свое ведьминское жилье, скажет «встань ко мне передом, к лесу задом». Но выбора у них не было, мать велела идти, а бабушка вела себя как нормальная старушка, не колдовала. Постепенно дети стали к ней привыкать. Толика бабушка порой несла на закорках, когда тот выбивался из сил, а ночлега не предвиделось. Пока шли, Феона учила внуков искать съедобную траву, потому что продуктов в дорогу взяли мало. Карточки вперед отоварили на два дня. Оставшееся до конца месяца содержание Екатерина собиралась отоварить в положенные сроки и насушить сухарей. Галя с Лизой горевали по поводу карточек, но имели расчет — в деревне жизнь сытая. Девочки думали, придут в деревню и нарвут себе в поле хлеба. Лизка собиралась нарвать побольше черного, насушить на зиму и вернуться богатой в город. Сухари можно было бы продать на черном рынке или выменять на них сало. Галя хотела белых булок, лучше таких, которые посыпаны сверху корицей. Заспорили. Суровая Лизка надавала Галке тумаков, в конце обе сошлись на том, что вкусней всего белая «городская сайка», саек они нарвут в первую очередь, а потом остальное, сколько захочется, ну и на сухари тоже. Обе удивились, узнав что «хлеб» не буханками, не булками, а совсем как трава растет, и до саек ему еще зреть да зреть. Вот это стало горьким разочарованием. По радио всегда говорили: растет хлеб, вырастили хлеба столько-то тонн, убрали хлеб полностью. Зачем говорить, если все не так?

Мать Екатерина нагнала их за день до Зязелги. Лизу решили оставить в селе Печмень у чужих людей в няньках. Лизка ревела, божилась, что убежит. А куда там бежать? Так и прожила до конца войны, битая порой, да все же почти сытая и кое-как одетая, в семье. Это обстоятельство Галя потом ставила Лизе в упрек и не позволяла ей говорить, будто та в войну натерпелась горя. «Настоящего горя ты, Лизавета, не знала», — говаривала Галя старшей сестре. У них с возрастом случился перевертыш: младшая Галя укрепилась в моральном превосходстве и отплатила за все тумаки, полученные от Лизы в бесправном детстве. Называла она это «поставить на место». Поставленная на место Лиза опускала голову и ворчала: «Да где уж нам!»

В Зязелгу привели Галю с Толиком. Первым делом бабушка показала свою бывшую усадьбу. Катерина всплакнула, а Феона сухим глазом посмотрела на нее и сказала:

— Нечего теперь нищим-то из дому таскать? Все войдем в царствие небесное. В ушко — как по маслу. Твоими молитвами.

* * *

В моем детстве деревне Зязелге отводилась роль первейшего царства-государства. Вытеснила она Тридевятое вместе с Тридесятым на второй-третий план. Сказочный ширпотреб, затасканный кинематографом и массовыми тиражами ДетГиза, не шел ни в какое сравнение с эксклюзивной волшебной страной Зязелгой, населенной удивительными людьми, животными и рыбами.

Мама покупала в магазине топленое молоко в треугольном картонном пакете 0,5 л, наливала в горячий крепкий чай, и пригубив рассказывала о том, как Тимофевна позвала ее читать письмо с фронта. Позвала читать и угощала чаем с топленым молоком. Мама — воспитанная девочка — сначала читала и только потом смаковала маленькими глоточками восхитительный напиток вприкуску с тонюсенькими сахарными осколками, а второй стакан пила без сахара.

— Две ложки тебе положу, — говорила мама, размешивая мой чай с молоком. — А то вкус не прочувствуешь.

Я пила сладкий молочный чай и слушала в который раз про письмо с фронта. Я училась уже классе в шестом, когда задала наконец мучивший меня вопрос, почему солдатская мать сама писем не читала. Оказывается, у нее зрение ослабло, а в деревне очков не достать. Понятно.

С двумя стаканами у Тимофевны полагался один маковый калач. Мама съедала половину, а другую уносила Толику. Несла очень быстро — бегом, потому что калач в кармане крошился и руки сами тащили в рот крошки, не добежишь — калач кончится, чем Толика кормить? Сын Тимофевны пропал без вести под Сталинградом, чаепития закончились. К весне мама с Толиком остались вовсе без еды, пожелтели и опухли.

Зязелга перекочевала из моего младенчества в детство, через отрочество — в юность и захватила существенную часть взрослой жизни. Главным образом внушалась мне мысль, что у нас отобрали мельницу, позже к списку имущества прибавилась маслобойка. Для наглядности мама даже взбила однажды купленные на рынке сливки — показала, как делается масло. Год от года мама дополняла сказание о Зязелге новыми подробностями. Хотя, пожалуй, содержание не сильно изменялось, просто я сама, взрослея, усваивала новые детали, задавая вопросы, уточняя порядок событий, проявляя облик местных старух в онучах и стеганых фуфайках, масть лошадей, вкус ягод, цвет черемух, глубину снегов и туманов, в которых тонула Зязелга зимой, весной, летом. Миф о Зязелге стал главным мифом моей жизни. Моя частная история произрастала из нескольких лет Зязелги, как вся европейская цивилизация из трех дней Иерусалима. Хотя есть более удачное сравнение — с древним Новгородом. Великий Новгород, как и Зязелга все же был на самом деле, а в существовании Иерусалима и прочих Парижей-Лондонов я большую часть своей жизни сильно сомневалась. Так вот, Зязелга по причине своей

исторической значимости в какой-то момент стала ассоциироваться у меня с русской древностью. Учась в третьем классе, я даже предприняла попытку посетить Зязелгу с целью найти там берестяные грамоты. Книжку о новгородских раскопках я взяла в городской детской библиотеке на полке для старшеклассников. Короткая тщательно выстроенная научно-популярная повесть очаровала меня так же глубоко, как мамины бесконечные и, в общем-то, бессистемные рассказы. Сложив воедино то и другое, я принялась готовиться к экспедиции «на юг области», чтобы там погрузиться в карстовую воронку, раскопать из нее вход в карстовую пещеру и достать оттуда новгородские берестяные грамоты. Определенное влияние оказала Кунгурская ледяная пещера, куда родители возили меня в каникулы. Там я получила представление о масштабах предстоящих поисков. Начала с заготовки продуктов; похоже, тут сказалось мамино основополагающее. На том и погорела. Подельницей избрала я одноклассницу Таню, проживавшую в частном доме с дровяным сараем. В сарае в поленнице мы с ней всю зиму прятали провиант: рыбные консервы, макароны, крупу, сгущенку. Закупали на деньги, сэкономленные от школьных завтраков. Все прочие карманные поступления также шли на пополнение продуктовой залежи. Экономили так: если у нас имелось 44 копейки на два бисквитных пирожных по 22 копейки, мы покупали одно пирожное. Съедали его пополам, а на оставшиеся деньги покупали что-нибудь в запас. Кроме съедобного приобрели упаковку свечей и несколько коробков спичек. В конце отопительного сезона дровяник опустел, а наша поленница рухнула, оголив тайный склад. Экспедиция накрылась. Потрясенные родители не стали нас с Таней наказывать. Наоборот, семьи познакомились и какое-то время сдержанно дружили на почве интереса к берестяным грамотам. С тех пор я ни разу не предпринимала попытку посетить сакральную территорию маминого детства. Тот мир оставался нетронутым, запечатанным в ментальной архивной папке под грифом «прошлое». Доставать по листочку из той папки могла только мама, сама, когда пожелает. Из нашего настоящего не вело туда никаких земных дорог.

Зато в маленькой далекой Зязелге, не тронутой преобразованиями современности, по-прежнему сходились вместе сразу три реки, главная — Искильда, кишела рыбой. Рыбу там ловили фартуком, а у кого не нашлось фартука, ловили подолом, только с задранным подолом неловко на берег выходить, поэтому все же лучше фартуком.

В ближайших окрестностях Зязелги на склонах Печменского кряжа рос и обильно плодоносил кислой мелкой ягодой вишневый стланик, называемый местными жителями диковинным словом «вишенно», в карстовых воронках — сладкая клубника, а на опушках — душистая земляника. Мама пасла коров и каждый день набирала по целому чайнику земляники для бабушки Фони, у которой болели сердце и голова. Голова болела от избытка волос. Бабушкины дочери Валя и Таня выстригали ей пряди, чтобы облегчить непосильную ношу, но волосы снова нарастали кудрявой щеткой, вставали торчком, и уложить их в пучок становилось все трудней и трудней.

Удивительно, что тетю Валю, которая постоянно присутствовала в нашей жизни со всей своей семьей, я никоим образом не ассоциировала с той Валей, которую вытряхнули в январский снег из резной отцовской люльки. Сама тетя Валя про Зязелгу никогда не вспоминала, да и мама, кажется, при ней об этом не говорила. Если я пробовала завести разговор с ними обеими, Галя и Валя делали вид, что меня не слышат или не понимают. И только раз тетя Лиза обмолвилась, урезонивая меня:

— Да что уж, раз уж так вышло, нечего и ворошить.

— Что вышло, что ворошить? — вцепилась я, но тетя Лиза только поерзала на стуле под жестким взглядом мамы и добавила:

— Раскулачили, да и все.

Я поняла, что на самом деле речь шла о чем-то другом, о какой-то тайне, и поняла, что мне не расскажут.

* * *

Прошел год после водворения моей будущей мамы Гали в Зязелгу. Когда закончились все полевые работы, оставалось только пасти деревенское стадо на остатках луговых трав. Но после первого и второго снега кончилась и эта работа. Галя пошла в школу, повела и Толика. Шел 1943 год, война и жизнь. Накануне Октябрьских праздников откуда ни возьмись явилась в Зязелгу Екатерина. Она исчезла позапрошлым летом, почти сразу после водворения детей в избушку с крыльцом на солнечную сторону. Все, принимавшие какое-то участие в сиротах, почитали ее давно умершей. Галя, обнаружившая вдруг мамку молящейся в темном углу под образами, сильно перепугалась, приняла ее за привидение и сама стала креститься, отступая в сени, тихонько приговаривая «чур меня». Екатерина оказалась вполне живой, телесной, коротко остриженной после тифа и настроенной радостно на встречу с детьми. Бесхитростный Толик льнул к мамке, а Галя насторожилась. Заработала она летом некоторое количество зерна, муки, гороха. Насолила и насушила рыбу. Соль выменяла у эвакуированных на землянику. Земляники тоже насушила, и еще грибов вдоволь. Рассчитывала, что вдвоем с Толиком на этих харчах протянут до весны, а если еще будет приработок нянькой или письма читать позовут, так и вовсе с жирком перезимуют. Мамка — лишний рот. На нее тут не рассчитано. Зря тревожилась Галя. Екатерина погостила пару недель и ушла, сказав «надо мне». Так она говорила, отправляясь в храм на службу, еще в довоенной жизни, в Городе, где церквей почти не осталось, только одна еще на Егошихинском погосте не закрывалась в те годы. Галя поняла, что мамка пошла на моленье. В дорогу Екатерине дала она крупу и горох из своих детских трудодней, сколько вошло в переметную суму. Да еще лепешек напекла сама Екатерина, невкусных, кислых. Посещение матери имело одно чрезвычайно важное значение. Принесла она письма от отца, адресованные по-прежнему в городской рабочий барак. Значит, жив. Галя даже и не сомневалась никогда, что папка выживет, убьет всех немцев и вернется, но подтверждение в виде писем окончательно укрепило ее веру.

Гале исполнилось уже 10 лет. Она многое умела, ко всему почти была готова и страшилась только одного — голода, который грозил отнять Толика, последнего братика. Папка, уходя на фронт, велел ей хранить младших. Первая военная зима двоих забрала. Но Толика Галя не отдаст. Жизнью своей заплатит, а не отдаст. Придет папка с фронта, она и скажет ему: вот Толик, твой сын. Я его сохранила.

* * *

Самый странный, если не сказать страшный, из маминых рассказов о Зязелге относился к весне 1943 года. В избушке закончилась всякая еда. Пока были силы, Галя и Толик ходили в лес драть липовое лыко, там под корой находился влажный гладкий слой волокон, которые можно было сварить и пить мутный сладковатый настой. От него слипались кишки, но имитация пищи давала детям краткое успокоение. Сил пойти в лес не осталось. Заготовленное лыко они все обгрызли. Опухли и пожелтели. Галя догадалась, что дальше только смерть. В последний день, а выдался он солнечным, девочка вывела брата на крыльцо, раздела, и оба они голыми легли на теплые доски, подставив яркому свету рахитичные тельца. Сказалось Галино эстетическое чувство — умереть она готовилась красиво, чисто, с благодатью. Смерть девочка представляла по мамкиному святому писанию — как вознесение с потоком солнечного света на небо. Прозрачные от истощения, они с Толиком, пожалуй, так и вознеслись бы, да в тот самый час Кирилловна пошла за сеном к дальнему стогу.

— Зовут ее Ульяна Кирилловна, — повторяла мама. — Запомни это имя. Если бы не она, не быть тебе на этом свете. Может, жива еще. Если вдруг встретишь ее, поклонись, скажи спасибо.

Я обещала поклониться и сказать спасибо Ульяне Кирилловне, совершенно не отдавая себе отчета, как смогу ее узнать здесь, в Перми, и даже не задаваясь вопросом, почему бы самой маме не съездить в Зязелгу и не повидать Кирилловну, если она жива.

Догнать и перегнать

Мама не была человеком завидующим, но четко подмечала, у кого что лучше, чем у нее самой. Подмечала, брала на заметку и стремилась. Завидовала только двум вещам — высокому росту, это у нее на всю жизнь сохранилось, а в детстве еще — эвакуированным. В Зязелге во время войны образовались три социальные группы: местные колхозники, эвакуированные и Галя с Толиком — «ничьи». Лучше всего, по мнению маленькой, но приметливой Гали, жилось эвакуированным. Во-первых, привезли с собой много вещей из городской жизни. Во-вторых, им полагалось содержание и дрова от колхоза. В-третьих, они все были очень красивые. За две-три колхозные зимы красота не стерлась с городских лиц. Ленинградские и харьковские женщины как приехали, так и уехали красавицами, только слегка постаревшими. Но это же ничего!

Галя могла завидовать детям эвакуированных, хотя бы тому, что у тех были матери, которые лечили их от простуд, целовали, укладывали спать, готовили еду и давали в школу нехитрые завтраки. Но детей Галя не воспринимала как ровню. Она вступила в необъявленное соревнование со взрослыми женщинами, которые, конечно же, не догадывались о своих постыдных провалах и редких случаях, когда Галя не могла не признать их временного превосходства над собой.

Эвакуированные женщины не умели прясть, а Галя выучилась легко и пряла теперь лучше всех в деревне, что признавала и о чем говорила у колодца сама Ульяна Кирилловна. Эвакуированные женщины не умели обращаться с коровами, боялись волков и не знали, где растут самые сочные ягоды, самые лучшие грибы. Они даже капусту квасить не умели. Галя все это знала и умела. Семян посадить капусту не достать, поэтому Галя собирала по огородам капустный лист, оставленный хозяйками после уборки урожая, и квасила у себя в избушке на зиму. Когда пришло лето и жатва, Галя так ловко управлялась с серпом, что ее хвалил перед всеми сам бригадир. А никого из эвакуированных бригадир не хвалил никогда. Косить траву должным образом не получалось у Гали. Роста не хватало и размаха плеча, так до конца войны и не набрала она стати, и грамоту за косьбу ни разу не получила. Зато неплохо работала граблями. Но и тут рослые городские женщины, не говоря о деревенских бабах, Галю вперед в соревновании не пропускали. «Ничего-ничего, — приговаривала Галя. — Вот придет папка с фронта, откормлюсь, стану большая и всем покажу, кто тут…»

На прокорм себя и Толика Галя зарабатывать умела. Хуже обстояли дела с одеждой. Лапти выменивала на пряжу, шерсть давали за работу, кое-какие тряпки находила в мусоре. Тряпки наматывала на ноги, лыком подвязывала. Когда году так в 1983-м я купила импортные роскошные босоножки с перекрещивающимися «римскими» ремешками, маме они напомнили детство. Мама с восторгом рассказывала, как ловко она с лыком управлялась, ну совсем как вот с этими босоножками:

— Тут зацеплю, перекину, а вторую лямку через пятку вперед и вверх, подогну, вперехлест и вот так завяжу. Крепко, любо-дорого!

Я уплывала по волне маминых ностальгических эмоций в светлое деревенское детство. Там все складывалось замечательно: когда волки приходили резать овец, мама-пастух, а летом она всегда нанималась пасти деревенское стадо, вынимала из берестяной сумы заранее приготовленную железяку и брякала ею по чайнику. Волки — такие смышленые! — понимали, что никакого оружия у мамы нет, и, слегка огрызаясь,

шли резать овец. К самой маме не подходили. Только ее за овцу потом поколачивали хозяева. Но не сильно, для острастки.

В 1944 году к 7 ноября ничью Галю колхоз наградил за ударный труд атласной ленточкой и куском мыла. Галя впервые за много лет вымыла голову не щелоком, а настоящим мылом, разрезала ленту на две, заплела косы, закрепила их лентами на узелок — на банты длины не хватило, и страшно нарядная пришла в клуб на танцы. Все, кто собрался в клубе, говорили, что девка эта самая работящая, мыло с лентами ей дали не зря. И даже эвакуированные смотрели уважительно. У них-то мыло давно кончилось.

Но с одеждой все равно все было очень плохо. Весной 44 года, когда еще не начались полевые работы и брат с сестрой ходили в школу, выдался сухой теплый денек. Галя устроила стирку. Стирать приходилось, сняв с себя все, сменки дети не имели. Потому и денек требовался сухой — чтоб до вечера одежка просохла. Постирала, а тряпочки в воде разошлись на клочья — износились в прах. Стоит голая Галя над тазом и плачет. Мама вспоминала об этом с таким заразительным смехом, что я, учитывая смысл сказанного, не вполне могла разделить ее веселье.

Только представьте: у вас распалась в прах последняя одежда и негде взять другую. Что тут смешного? Но еще в самом начале истории про Зязелгу, летом 1942 года, когда бабушка Фоня вела внуков в деревню, в Галином вещевом мешке свернутая лежала географическая карта С.С.С.Р. Именно так — с точками после каждой буквы. Карту Гале подарили в школе за успешное окончание первого класса. Красный Советский Союз располагался поверх всего разноцветного мира, как бы нависая над Индией, Африкой, далеко внизу оставляя одинокую Австралию вместе с Антарктидой, совсем ни на что не годной. И до того велика была та карта, что если ободрать бумажное изображение с тканевой основы… Ну да, из карты Галя сшила себе платье, а Толику штанишки. На зиму у Толика был отцовский пиджак — мамка принесла из города — длинный и широкий, как пальто. У Гали — ватник погибшего односельчанина. Выменяла у вдовы на сушеные грибы. Грибы очень высоко ценили заготовители. Давали за них соль, иголки для шитья, нитки. Колхозным-то бабам некогда собирать дикоросы, они с утра до ночи на работе. А Галя научила Толика собирать белые, обабки, красноголовики для сушки и сыроежки — на похлебку. Он собирал, пока сестра пасла стадо. Волки его не трогали. Так вот на сушеные грибы-то и выменяла Галя себе добротный ватник. Длинный — ниже колен. Для тепла служили ребятам вязаные безрукавки. Галя сама связала, когда заработала шерсти за пряжу. Можно сказать, жили они справно. Мамка порой навещала, хорошо, что не часто, раз-два в год. Отец писал прямо ей, Гале, в Зязелгу бодрые письма с фронта, и она складывала их в шкатулку.

Старуха Тимофевна после того, как единственный сын пропал без вести под Сталинградом, немножко тронулась умом. Это все замечали. Гале она принесла ту красивую резную шкатулку, что-то бормотала о пропавших бумагах и каялась, что выбросила их в печку. Просила прощения — то шепотом, а то в крик кидалась. Галя хотела узнать, за что прощение. Старуха несла околесицу, а потом расплакалась и упала Гале в ноги. Шкатулку пришлось взять, а Тимофевну «простить». Бабушка Фоня позже, уже при смерти, рассказала про жестокое раскулачивание и признала шкатулку — муж Яков сам резал и собирал, и в той шкатулке хранились письма от разлетевшихся по миру кулацких детей. Тимофевна — расчетливая! — думала, что если прощение вымолит и добро отдаст самой разнесчастной из швецовских последышей, то Бог вернет ей сына. Просчиталась. Сама-то Галя вовсе не воспринимала свою жизнь как несчастье, потому и не сработало задуманное. Обменять деревянную шкатулку на живого сына у Тимофевны не вышло. Зато у Гали получилось сохранить и вырастить брата Толика. На шкатулку она выменяла миску меда, когда мальчик простудился, собирая в лесу хворост. Вылечила.

Разочарования

Дядя Толя, когда вырос, стал пьяницей и алиментщиком. Отсидев на зоне, сколько положено по первой ходке за неуплату алиментов, он, как только освободился, приехал к сестре Гале, то есть к нам, ко мне, маме и папе. Сработала привычка: если что — сразу к Гале. Дома родителей не было, я позвонила маме на работу, она сказала: «Не пускать! Пусть идет туда, где был». Я так и передала ему слово в слово через дверь. Но дядя Толя не мог пойти обратно туда, откуда его сегодня выпустили. Он устроился на лестничной клетке, ждать. Я подходила к двери, смотрела в глазок, и дядя Толя сразу поворачивал совершенно круглую стриженую голову, смотрел на дверь, на глазок. Чуял! У него был круглый, чуть сбитый набок нос на круглом лице и дугообразные брови над круглыми пустыми глазами. Рот его сложился жалостно в букву «О». Я жалела дядю Толю, глядя на его покатые, как у бабы Кати, плечи, мягкие, безвольно опущенные под казенным ватником. И в то же время я ощущала страх. Страх постепенно рос и становился больше жалости. Мама отказалась от брата, которого в Зязелге так сильно любила, что потратила на него все свое детство. Выкормила, сохранила и разочаровалась — бросила без сожаленья. По маминому голосу в телефонной трубке я понимала, что сожаленья у нее нет. Я чувствовала, что мама никогда не любила меня так же беззаветно, как брата Толика. Просто не требовалось в наших обстоятельствах такой большой беззаветной любви. Не требовалось драть и грызть лыко, защищаться от волков гремящим чайником, таскать воду коромыслами на коровник, зарабатывая бутылку молока и кусок хлеба. Вот из-за этой воды коромыслами, из-за тяжелых не по возрасту ведер и не выросла мама, как мечталось, не дотянула даже до метра шестидесяти. Хотя с чего она взяла, что стала бы высокой? Баба Катя мне по плечо. Она, конечно, согбенная старушка, но все равно — наследственность не преодолеть одними только мечтами и намерениями. Дядя Толя тоже не вырос, хотя ведер в коровник не таскал. Невысокий, сидел и сидел он на лестнице. Приходили соседи с работы и перешагивали через него. Любопытствовали, кто, да к кому, да зачем. Пришли взрослые парни с нашего двора и стали с ним разговаривать. Притащили целлофановый пакетик с пивом, угостили, расселись по ступенькам слушать про зону — закурили. Я забросила уроки, прилипла к глазку. Витька Плотников позвонил в дверь, сказал, мол, зря дядю родного в дом не пускаю.

— Мне родители не велят, — сердито отвечала я через цепочку, досадуя, что теперь весь двор узнает, что мой дядя сидел в тюрьме. Крындец репутации хорошей девочки.

Я терзалась стыдом, жалостью и страхом. В тот день я догадалась, что все мамины угрозы, звучавшие в плохие минуты нашей жизни, угрозы отказаться от меня, выставить на улицу и забыть — чистая правда. Меня выставят на улицу и забудут, если я когда-нибудь не оправдаю надежд и опозорю маму на весь белый свет. Мамин «весь белый свет» не слишком велик, позор такого масштаба я вполне могла произвести даже невзначай, во всяком случае, ощущала себя способной на такое. И что? Буду сидеть, как дядя Толя, на лестнице? Нет, я умру — решила и задумалась, как именно я умру, после того как опозорю маму.

Родители вернулись домой поздно. Мама нарочно позвала папу в кино, а после сеанса они шли пешком. На что рассчитывали? Дядя Толя не ушел. Он дремал, сидя на газетке, привалившись к стене, крашеной синей масляной краской. Папа удивился и страшно обрадовался. У папы когда-то был родной брат, но утонул еще мальчиком. Утрата осталась невосполненной, поэтому каждого маминого родственника папа не просто ценил, он впадал в восторг от встреч и тяжело переживал расставания, хотя в разлуке чувствовал себя вполне сносно. Ясно было, что мама не рассказала ему о визитере, а теперь уж делать было нечего — впустили в дом, накрыли стол. Мама исполняла ритуал гостеприимства с поджатыми губами, не глядя ни на кого. Утром дядю Толю выставили, то есть увели с собой, чтобы по дороге на работу на-

править к бабе Кате. Пусть там устраивается. Дали папину одежду, переодеться из тюремного, папино белье и одеяло с подушкой и сколько-то денег. На прощание вполне удовлетворенный приемом Толя, чувствуя себя нарядным в папином мало ношенном плаще, окинул восхищенным взором нашу квартирку, обставленную по последней моде 70-х: с сервантом, телевизором и коврами во всю стену. Окинул и сказал:

— У меня все это будет через полгода. Но через полгода он уже пошел на вторую ходку, такую же мелкую, как первая. Мама не читала его жалких писем. И не сжигала, а бесстрастно выбрасывала их в мусорное ведро. Дальнейшая судьба дяди Толи оставалась невыясненной довольно долго.

А моя судьба, наоборот, обрела ясность с той неприятной встречи. Насмотревшись на мыкавшего горе Толика, я много-много лет руководствовалась принципом — пусть хоть что, но только бы мама была довольна. Привыкла и даже забыла, зачем мне это надо, а надо было для того только, чтоб не оказаться на лестнице перед запертой родительской дверью.

Зязелга, оживляемая маминими навязчивыми воспоминаниями, вставала во весь рост нереально прекрасная, эталонная по способу жизни, праведной и тяжелой. Зязелга была уже лучше всего на свете и все на свете обесценивала фактом своего превосходства. Она овладевала моим сознанием и проникала причудливыми метастазами в подсознании.

Белые колени

Никогда я не ставила под сомнение расписанные мамой прелести деревни Зязелги. Ни разу не усомнилась в ее необъятных природных ресурсах. Ничто из упомянутого не вызвало моего недоверия. Сказанное мамой, по заведенному в семье порядку, никогда не подвергалось сомнению, а тем более сказанное про Зязелгу. Единственное, что я осмеливалась критически осмысливать, — роль, а вернее, отсутствие роли бабушки. Бабушка Феона привела внуков в деревню и бросила без участия?

— У нее свои дети были, — уклончиво отвечала мама. — Бросила нас не бабушка, а баба Катя.

Свою маму мама не называла мамой, даже обращаясь к ней напрямую, использовала междометья и местоимения, а в третьем лице — баба Катя. Баба Катя вызывала у мамы жалость, досаду, но чаще — раздражение. Это ничего. Мы с папой тоже часто маму раздражали, я так вообще доводила «до белых коленей». Мама кричала: «Ты опять довела меня до белых коленей!» — чем разжигала мое любопытство. Я очень хотела увидеть белые колени, во-первых, а во-вторых, изумлялась устройству маминого организма. Все-все люди в расстроенных чувствах хватались за сердце, особенно в кино такое часто бывало. Все страдали сердцем, которое «кровью обливалось», а мама страдала коленями! Я даже вывела теорию: у мамы колени становились белыми, потому что кровь отливала к сердцу. Ну как иначе-то? Я очень хотела бы рассмотреть и оценить белизну коленей, однако в подходящий для этого момент либо колени оказывались вне доступа, либо я — в слезах.

Когда однажды я, нашкодив в очередной раз, спряталась под письменным столом, а мама меня туда пинала, колени наконец удалось рассмотреть. Они вовсе не были белыми. Обратиться за разъяснением к маме я сочла небезопасным. Все узнала от деда — у меня кроме бабы Кати имелись еще родные дедушка и бабушка. Так вот, дед, потомственный металлург, объяснил, что бывает красное и белое каление железа. Белое — это когда уж совсем горячо. Следовало говорить: «Ты меня довела до белого каления». Попытка донести до мамы эту информацию привела к очередным «белым коленям».

В Зязелге у мамы колени белели зимой от мороза. Ватник, довольно длинный, не мог заменить штаны и чулки, коих маленькая Галя не имела, и взять было неоткуда. Снизу лапти, лыко, тряпица, сверху платок, посредине ватник, а пока добежишь до школы с голыми

коленками, они примораживаются, белеют. Учительница всегда держала для Гали место возле печки. Знала, что хуже нее никто во всей школе не одевался. И никто во всей школе не учился с таким рвением, как Галя. Деревенские по природе своей относились к наукам с легким презрением. Арифметикой козу не накормишь. Эвакуированные помнили о своей прежней довоенной школе, с которой местная никак не могла равняться. Галя же училась рьяно, ей предстояло, когда отец вернется с фронта, поехать в город учиться на артистку. К тому же именно школой Галя награждала себя за упорный труд. Выходя к доске, она как будто вышагивала из тяжелой преждевременной взрослости в свое несостоявшееся детство. Школа служила подиумом, сценой, трибуной, с которой Галя заявляла о своем превосходстве перед всеми, кто ее окружал и унижал. Склонность к обучению она переняла, должно быть, с генами от Екатерины, и одержимость тоже от нее, только без религиозности.

С тем же рвением, с каким Екатерина отрицала все мирское, материальное, Галя, наоборот, мирское — в основном съедобное — ценила и добывала. Как только появлялась весенняя нужда в рабочих руках, уроки для Гали заканчивались. Она шла на заработки. Дотягивала год на домашних заданиях. И все же годовые оценки у нее выходили самые лучшие в школе, если не считать эвакуированную девочку, у которой мама работала учительницей. Толик продолжал ходить на уроки до самых каникул, ничем, однако, не выделяясь из ряда сверстников. Да и ладно, хоть под присмотром.

Разрыв отношений с родней произошел как раз из-за Толика. Еще в 1942 году, в начале первого деревенского учебного года, Галя застала на школьном крыльце унизительную сцену. Бабушкины дочки Валя с Галей «кормили» племянника шаньгами. Шаньги — разновидность ватрушки с тонким тестом и пышной картофельной начинкой, сдобренной топленым маслом и сметаной с яйцом, — пекла баба Фоня. До Зязелги Галя шаньги знала, в бараке некоторые женщины пекли, но таких вкусных ни у кого не выходило. Так вот, взрослые девки Таня с Валей — одной тринадцать, другой почти пятнадцать лет — ломали шаньги и кидали на землю, а шестилетний Толик как щенок бегал на четвереньках и собирал куски под хохот других школьников. Танька еще и лаять его заставляла, и «служить». Толик был голоден. Екатерина ушла на моленье в июле, а тут уже сентябрь кончался. «Ничьи дети» толком не понимали, что им делать, ждать мамку или идти побираться. Удавалось найти полусгнившую картошку, лист капустный на огородах, грибы — тем и питались, да и то не каждый день. Смешной глупый Толик искренне радовался и шаньгам, и общему веселью. Галя в кровь расцарапала лицо младшей — Вальке, а Таньку повалила на землю, оседлала, затолкала ей в рот шаньгу с грязью и пока не оттащили, била кулачками в лицо, яростно повторяя: «Будь ты проклята, будь ты проклята во веки веков, и потомство твое будь проклято до седьмого колена». У кого научилась так страшно проклинать, Галка не помнила. Но Танька действительно счастья в жизни так и не увидала. Узнав о нападении городской внучки на дочерей, да еще и о проклятиях, бабушка Феона велела Катерининых последышей на порог не пускать. Разумеется, мама об этом происшествии не рассказывала. Она с пристрастием цензора вымарала из своей идеальной жизни в Зязелге все, хоть сколько-нибудь порочащее это святое место. Проклятая Татьяна, рано овдовевшая, в горький час бестолковой жизни рассказала об этом дочери, и та, поверив в силу злого слова, смирилась с неотвратимостью своего женского несчастья. Родила ребеночка от солдата-срочника. Тот и не узнал, кажется, никогда, что имеет сыночка по месту службы. Нелюбимыми прожили они, мать и дочь, мальчика вырастили, а в 90-е он сделался наркоманом и умер даже раньше бабушки Тани. Так что все кончилось третьим проклятым коленом, седьмого не дождались.

Конфузу с шаньгами предшествовал еще один некрасивый эпизод. Вспомнила об этом тетя Валя, когда мамы уж не было в живых. Вселившись в убогую избушку, дети

Екатерины, как и следовало ожидать, пошли по деревне знакомиться со сверстниками, родней и свояками. Галя надела городское платье со строченым воротником и красные кожаные туфельки. Туфельки уже маловатые и порядком поношенные, но для деревни диковинные. Нарочитая нарядность так сильно выделяла Галю из общего ряда живущих в Зязелге детей, что подружиться с ней никто не решался. Особенно плохо воспринимались даже не туфельки, а рассказы Гали про то, как вернется с фронта ее отец и привезет целую машину арбузов, вот таких, как нарисованы в букваре. Благодаря широте души и большим шоферским возможностям Димитрия, Галя с Лизой чувствовали себя в заводском бараке детьми привилегированными. Добиться такого же положения в Зязелге не получилось. Тут никто не верил ни в арбузы, ни в отца, который привезет их с фронта. На фронт ушли все почти здешние отцы, и похоронки во многие избы уже прилетели. А в арбузах жители Зязелги вовсе не нуждались.

Наконец пришло время сбора колосков после жатвы. Все ребятишки, даже дошкольники, снарядились в поле. Пришла и Галя. В туфлях! Бабушка Феона специально для такого случая припасла для внуков лапотки. Толика одели. Но Галя категорически отказалась переобуваться, пиналась во все стороны и даже укусила кого-то из доброхотов. Колосьев она много не собрала, а туфли от прогулки по стерне, по мокрому полю, развалились. Поплакав, Галя похоронила свои туфельки на огороде у Кирилловны. Злые ребята подглядели, туфли вырыли и, надев на палку ошметки былой роскоши, бегали за Галей, дразня ее: «Эй, городская, девка баская, а ходит босая!»

«Ну как-то так, я точно слов не помню», — конфузливо хихикала старенькая тетя Валя. Ей ко времени воспоминаний шел 86-й годок. Похоже, Зязелга крепко держала и ее мозг разными занятными деталями, о которых повзрослевшие родственницы молчали много десятилетий. Молчали и дружили семьями. Не исключено, что туфельки вырыла из «могилки» сама тетя Валя. Но признаваться в этом она не стала, а я не спросила.

Так вот, дети не верили, а дед мой с фронта вернулся живой, однажды только слегка контуженый. Служил он шофером, возил снаряды на передовую. Свое везенье объяснял просто. В самом начале, когда бои шли под Москвой, он попал под обстрел. Укрылся в блиндаже. Вокруг снаряды рвутся. А он сидит в углу и с Богом разговаривает. Разговаривает в том смысле, что Бог дал ему негодящую жену и пятерых детей. Раз дал, то должен сохранить Димитрия в целости до конца войны, потому что детки с такой матерью не выживут. Не поднимет их Катерина. Пропадут детки. Бог пока Димитрия слушал, пропустил снаряд, летевший прямо к блиндажу. В последний момент только вступился. Остался от блиндажа, а там человек пять укрывались, один только угол, в котором сидел мой дед Димитрий. На том и прекратился обстрел. Во всяком случае, дед ничего больше не слышал. Через неделю слух у Димитрия восстановился. Он даже в госпиталь не попал. И с того случая — ни одной царапины. Бог слышит, когда ему прямо говорят, чего надо и зачем.

Мама — гордая женщина — никогда никому не говорила прямо, чего ей хочется. Все должны были догадываться. Вот сидит она в гостях у моей бабушки за столом и хочет кусочек фаршированной рыбы. Хочет — не говорит. Пусть сами догадаются, что надо предложить снохе кусочек самого изысканного блюда. А когда предлагают — отказывается. Такой в Зязелге этикет, не признаваться ни за что, чего тебе хочется на самом деле, а принимать желаемое только с третьего раза. Отказалась — ждет, что снова предложат, но ей больше не предлагают рыбы. Ну, коли не хочет, зачем навязывать? В первый раз она рыбы так и не попробовала. Потом папе все высказала с обидой. Он как узнал, что три раза предлагать надо, взял это дело под контроль, стал по три раза предлагать. Поела мама рыбы. Ждет, что свекровь с ней рецептом поделится. Ждала-ждала, так и не дождалась. Я, когда подросла, все вызнала у бабушки, маме передаю, а она отказывается знать,

говорит, мол, пусть эта еврейка старая своей рыбой сама и подавится.

— Разве бабушка еврейка?

— А кто ж она? Я этих евреев за версту вижу. Хитрые, и ведь устраиваться умеют.

Но мне кажется, мама ошибалась насчет бабушки и насчет евреев тоже. Я родилась на втором курсе и жила до четырех с половиной лет у бабушки с дедушкой. Мама на выходные приезжала к нам. Приедет и давай полы мыть, стирку заведет. Ждет, что ей свекровь скажет: «Галочка, отдохни, поиграй с дочкой, погулять ее выведи, а стирку-уборку я сама закончу». Ждет, а не дождается. Бабушка только диву дается, говорит подружкам:

— Что за мать такая, неделю ребенка не видела, а ведь не подошла даже, ей бы только чего грязного найти да стирку на все выходные завести, будто я в простые дни времени не выберу.

— Это она специально перестирывает, чтоб тебя укорить, мол, засранка ты, — догадываются бабушкины подруги, подливая масла в костер тлеющей неприязни.

Они так и не поняли друг друга. Обиженная мама, немного пережив свекровь, сумела отравить ее последние года, полностью отлучив от общения с сыном и внучкой. Вот этого я не могу про себя понять, даже зная силу маминого манипулирования окружающими. Я не должна была…

Не отпускает

А Зязелга меж тем обретала новые черты и нюансы. Достоинства Зязелги выпячивались теперь методом отрицательного сравнения. В Абхазии, в Новом Афоне я кормила хлебными крошками огромных сонных карпов, дремавших в причудливо разветвленных каналах. Мама тоже покормила и заметила, что в Искильде (главная водная артерия Зязелги) в хорошие годы рыбы все-таки водилось больше, чем тут. В Ленинграде внимание мамы привлекли Пулковские высоты. Она заявила, что Печменский кряж, у подножия которого раскинулась своими двумя улицами Зязелга, был выше этих «так называемых высот». Единственное из маминых утверждений, поддающееся проверке, я проверила. На самом деле Печменский кряж выше и даже значительно выше Пулковских высот. К тому же на склонах Печменского кряжа полно ягод, а на Пулковских высотах ни клубники, ни вишенно не найти. Какое тут может быть сравнение?

Даже родная папина Нытва — и город, и река, и заводской пруд длиной 11 километров — в чем-то, хоть и незначительно, уступали Зязелге. Я к Нытве испытывала такую глубокую привязанность, что извести ее не могла б никакая самая золотая в мире страна, никакой самый лучший город, ни самая привлекательная местность. Перед этой живой горячей ежедневной привязанностью к Нытве отступала и Зязелга, постепенно становясь уже притчей во языцех. Ничего нового там не происходило, сказки о прекрасном голодном (как это совмещалось?!) детстве, рассказанные по двадцать восьмому разу, перестали радовать новизной, сюжеты закончились. Но Зязелга не хотела сдаваться. Она стала сниться!

Первый сон поднял маму среди ночи. Поднял грубо — тахикардическим приступом. В нем сообщалось, что из Зязелги ушла река. Та самая Искильда, кишевшая рыбой, ушла. Через неделю случился сон номер два — в Зязелге отмечали престольный праздник, Петров день. Ничего особенного во сне не случилось. Он был про то, как расставляли столы и ходили по очереди друг к другу в гости из одного конца деревни с песнями в другой конец, с которым по будням враждовали. В результате перемешивания в финале гуляний непременно дрались на кулаках тот конец с этим. Мама уже все это рассказывала. Но тут драка происходила во сне. Дрались незнакомые мужики, не из маминого детства. Наверное, те, которые не вернулись с фронта, все же во сне вернулись и подрались друг с другом вместо пацанов, сохранявших традицию соседского мордобития в тяжелые военные годы. Вот все и объяснилось. Но!

— Пир во сне не к добру, — сказала мама и сильно расстроилась.

Обошлось на этот раз без приступа. Ровно через неделю явился третий сон. На этот раз по Зязелге ходили трамваи, а вместо обычных изб стояли избы-небоскребы. Перед самым пробуждением по улицам, буквально по обеим, потекла нефть, жирная, как кровь.

— Человеческая кровь и скотская вместе, — уточнила мама.

Рассказав новое сновидение, она выпила пустырника, и все бы ничего, но по радио стали передавать новости, и в новостях первым номером шло сообщение о том, какое крупное месторождение нефти разведано в районе села Печмень.

— Печмень! Печмень! — Закричала мама, схватившись за голову. — Это же совсем рядом. Зязелгу нефтью зальёт, не будет ничего, ни реки, ни ягод. Сон в руку! В руку!

Папа пытался разрядить обстановку, пошутив насчет трамваев и небоскребных изб, которые теперь-то уж точно появятся в Зязелге, и расцветет она, как те Арабские Эмираты. Не помогло. Мама страдала. Посмотрев сны, она замкнулась и замолчала.

Не совсем замолчала, а частично: перестала рассказывать счастливые истории про Зязелгу. Прошло время. Мы стали уже забывать это зудящее название — Зязелга. И прошло еще какое-то время. Мама вышла на пенсию. Два года истово занималась своей новой дачей. Добилась высоких урожаев и развела такое кролиководческое хозяйство, что бросить его не решалась даже для поездки в Город с ночевкой.

Однажды, приехав на дачу к выходным, я не застала там мамы. Папа, он выглядел несколько обескураженным, нервно хохотнув, сообщил, что мама уехала в Зязелгу.

— В ту самую?!

— Ага.

— На чем? — я, будучи взрослой женщиной, все еще пребывала в твердой уверенности, что в Зязелгу добраться можно разве что на ковре-самолете.

— Ты не поверишь, туда ходит рейсовый автобус. Четыре рейса каждый день с автовокзала. Билет 205 рублей 50 копеек. Не то чтобы в саму Зязелгу, а транзитом через нее проходит. Остановка по требованию.

— Вот так, значит?

— Значит, так. Они обе уехали. С Валентиной.

Тетя Валя вернулась из поездки окрыленная идеей получить компенсацию за разорение семейного гнезда, а мама — просто окрыленная. В Зязелге ее сразу, как только сошли с автобуса, узнала дочь той самой Ульяны Кирилловны. А потом и остальные узнали. Если верить маминым рассказам, гуляла по этому поводу вся деревня. Ну или самая старшая часть местного населения, та часть, которая способна гулять, а не падать в алкогольный угар сразу и до утра, а потом опохмеляться до запоя.

— Мельницы нет, — сияя глазами говорила мама. — А насыпь через луговину, по которой дорога до мельницы шла, сохранилась!

Почему-то для нее это было важным. Но самое главное — Егорка, который свел в могилу Якова Швецова, тот самый, который захватил мельникову усадьбу и выгнал из деревни Феофилакту с ее скорбными саночками, умер страшной смертью.

— У него, говорят, глаза из орбит вылезли, судорогами его скрутило, и язык вывалился, так он вроде бы как от языка своего и задохнулся, а то ли даже и подавился им, — со скорбным лицом передавала мама деревенские сплетни.

Лицо скорбное, а радость куда денешь? Рвется наружу радость от свершившейся наконец справедливости. Та мельница и усадьба, и люлька, из которой вытряхнули в снег тетю Валю, преследовали меня все мое детство, и отрочество, и значительную часть юности. Я обнаружила вдруг, что сильно по ним соскучилась за годы маминого воздержания от воспоминаний о Зязелге.

— А речка? А рыба?

Тут мама потемнела лицом и сообщила трагическую весть: речка Искильда ушла из Зязелги.

— Как только плотину снесло ледоходом, мельницы давно уж нет, обрушилась, а пло-

тина стояла, так и ушла речка. Полноводная такая была, я ведь помню. Рыбу фартуками ловили. А сейчас нет ее. Болотина да ручеек сочится. А ведь три речки-то было, Искильда с двумя притоками! И нет ничего. Одно сплошное болото. А рыбу фартуками ловили.

Осенью мама заболела, и на следующий год умерла.

Последний визит

Путь на русский Юг, к Черному и Азовскому морям, лежит либо через Казань, по правому берегу Камы, либо через Башкирию и Самару — по левому берегу. Мы поехали по левому, вроде бы так спокойнее, машин меньше. Двухполосное добротное шоссе прошивает насквозь Тулвинское поречье, обжитое башкирами из племени гэйне еще до прихода на Урал русских переселенцев. Хорошие места, с плодородной землей и нефтеносными недрами. Не сильно богато здесь лесом, но достаточно, чтобы строить добротные дома. Местность холмистая, как раз такая, чтоб и простор ощутить, и не скучно глазам следить за волнистым многослойным горизонтом, за переходом тона от ярко зеленого к сине-черному и голубому, и дымчато-серому, тающему на границе с небом.

Сердце екнуло при слове «Печмень» на указателе вправо. Я повела носом — будто бы потянуло сладким клубничным духом, речной тиной, деревянной избой. Не через кондиционер, нет, просто мама умела рассказывать! Минут через десять я увидела синий дорожный знак «Зязелга 0,1 км».

— Зязелга! — воскликнул муж, он кое-что об этом семейном мифе знал, задело его краем.

Договорились с друзьями (мы ехали двумя экипажами), что они подождут на трассе, а мы — мигом, только взглянуть на луговину и насыпь, оставшуюся от дороги, ведущей к мельнице. Как здравомыслящий человек, я понимала, что красоты Зязелги сильно преувеличены в устном мамином творчестве. Я была готова удовлетвориться весьма умеренными прелестями сельского пейзажа. Но такой нищеты, грязи и упадка, такой беспросветной тоски, какой повернулась ко мне Зязелга, я не ожидала. Это было худшее из всех деревенских поселений, какие только мне довелось видеть, а поездила и посмотрела я за свою репортерскую жизнь достаточно. Опасаясь увязнуть в разбитых колеях на стыке тех самых двух улиц, мы оставили машину сразу, как свернули с трассы. Довольно быстро нашли насыпь. По логике она должна была начинаться прямо от усадьбы моего несчастного прадеда. В этом месте стоял, наклонившись вперед и вбок, кривой бревенчатый дом с дощаной подгнившей крышей. Окна его начинались низко над землей, он как бы смотрел себе под ноги. Потрясенная, крутила я головой по сторонам, когда, с трудом приоткрыв тяжелую створку криво сидящих ворот, из дома бочком высунулась и постепенно вышла наружу вся женщина с испитым лицом в грязной стеганой жилетке, в розовых теплых рейтузах со штрипками, висящими на пятках, и в новых галошах. Она пояснила, что живет тут недавно, а дом — нет, не довоенный, его колхоз строил и теперь сдает под квартиры своим работникам. Откуда ни возьмись, около нас возникла старушка в шерстяном платке и болоньевом плаще образца 70-х годов. Как только я назвала фамилию Швецовых, старушка оживилась и открестилась от всего, что тут произошло когда-то:

— Я ведь маленькая была, еще и в школу не ходила, лет мне было пять, да меньше, меньше пяти, не исполнилось еще. А вроде как выплатили компенсацию-то родственникам?

— Выплатили, — поспешила я успокоить невиноватую старушку. — Я без претензий, я просто посмотреть.

— А смотреть-то и нечего, — воскликнула старушка. — Ваша-то усадьба сгнила вся, упала. Дом упал и услуги (так местные называют хозяйственные постройки). Мельницы давно нет, а речка уж потом сама ушла. Нечего смотреть-то. Этот дом построили на месте вашего. Колхоз построил. Колхозный дом. Ничей.

Как только вопрос с домом решился, дама в розовых рейтузах утянулась обратно в ворота, подшаркивая галошами. Заметив, что я чего-то еще жду, хотя ничего я не ждала, просто не могла справиться с придавившим меня впечатлением, старушка решилась рассказать самое главное:

— Егорка, ну, тот, который вас того… — она показала жестом, что сделал Егорка. — Страшно мучился. Глаза у него повылазили. Всего скрутило, кричал — мочи нет, на два конца слышно было, как кричал, пока язык не вылез весь наружу. Языком-то он и подавился. А вы, правнучка, значит? На машине приехали? Не на автобусе. А Егорка в страшных муках помер. В страшных муках. И никого из них тут не осталось, а какие сопливые были! — Тут старушка оживилась и, похоже, хотела рассказать про необыкновенную способность Егоркиных детей, жены и тещи сморкаться через улицу наотмашь.

Я кивнула и пошла прочь. По мнению старушки, грех деревенской бедноты искуплен полностью и даже с лихвой Егоркиной ужасной смертью. Но мне было не до Егорки и его наследников. Мне открылось нечто, пролившее свет на все наши с мамой размолвки и горькие неприятности, на безнадежную нелюбовь, которую всю нашу с мамой жизнь я старалась преодолеть, выкладываясь перед ней своими успехами, трудами и талантами. Все было бессмысленно сейчас, здесь ввиду этой убогой зарывшейся в грязь деревеньки. Мама не в состоянии была принять и оценить дары, которыми осыпала ее жизнь после Зязелги. Потому что в Зязелге она была счастлива, а после — нет. Каким же сладким должно быть счастье, осветившее этот убогий придорожный мирок; и каким горьким — последовавшее за ним несчастье.

После Зязелги

Мой дед Димитрий пришел с фронта живой, здоровый, заряженный такой жаждой жизни, какую только может вынести человек, выживший в самой кровопролитной из войн. Накануне победы где-то под Будапештом ему исполнилось 35 лет. Он готов был начать все с начала, с чистого листа, потому что после такой беды и бойни нельзя жить по-прежнему, а только в любви, веселье, в ежедневном жгучем нестерпимом счастье. Я не могла его понять — ну дед и дед, какая такая у него личная жизнь? — пока мне самой не перевалило за сорок, и я не додумалась вычесть 1910-й из 1945-го. Представить только: ему-то всего тридцать пять, и он — победитель! Каково принимать условия, поставленные раз и навсегда Екатериной: рожать она больше не собиралась, никогда. Никогда — относилось прямо к нему, к мужу. «То самое» никогда между ними не случится. Она за четыре года непрерывных хождений по церквям, по скитам, по чудотворным мощам отмолила у Бога жизнь Димитрия, вымолила народную Победу над жутким врагом. Дала за то Богу обет не иметь плотских отношений. Лицемерная баба Катя! Нашла способ исполнить свою же мечту стать христовой невестой, соорудила еще и подоплеку религиозно-идеологическую. Ловка! Ничего не дала она взамен своему Богу, наоборот — использовала его как ширму, как оправдание женской и человеческой своей несостоятельности.

Весной 1946 года все между ними было уже решено. Димитрий поехал в Зязелгу. В той худенькой избушке ютились теперь все трое — Галя, Толик и старшая Лиза, прибившаяся к ним после того, как ей в Печмене отказали от дома. Хозяйкин сын вернулся с фронта. Нехорошо в одной избе держать девку-сироту и взрослого парня. Лизавета хоть и поздно созревала, в 16 лет едва похожа была на 14-летнюю, но все равно, пусть уходит, зажилась. Вдруг заневестится? А в Печмене и своих невест тогда хватало с избытком. Пойти Лизавете оказалось некуда, разве что в Зязелгу.

Отец приехал, как и грозила Галя своим деревенским обидчикам, на грузовике. Только без арбузов. Красивый, военный, с медалями. В Зязелге его кроме тещи никто не знал, он со сватовства туда не наведывался, а теща уж померла. Задерживаться

гостевать не пришлось. Отец в тот же день увез всех в Город. В довоенной семейной комнате хозяйничала другая женщина. Отказницу Катерину приютила Тоня Галанова, та самая, у которой муж перед самой войной пропал. Так нашелся ведь! Его вторично забрали в НКВД, прямо на улице схватили, «без права переписки» заменили чудом на лагерь, из лагеря попал в штрафбат, а там — геройское ранение, ампутация, демобилизовался. Он еще в 43-м вернулся домой, без руки, сильно заикающийся после контузии, но живой. Работе в ОТК увечье не мешало. Жили Галановы чисто, тихо и радостно — как до войны.

Чужая папкина жена деткам-оборванцам не обрадовалась. «Ладно хоть не все пятеро выжили», — сказала соседке-товарке сквозь зубы. Была она молодая, хваткая, беременная. Толик испугался мачехи, сразу же через коридор кинулся к мамке — в угол, отгороженный для нее в комнате Галановых. Галю с Лизой отец пригласил располагаться «как дома».

— А мы и так дома! — сказала Лизавета и села на табурет. Мачеха тут же табурет из под нее выдернула — надо таз с бельем поставить.

Надеялся ли Димитрий вписать свою прошлую довоенную жизнь в новую, послевоенную? Просто отбывал номер, памятуя о разговоре с Богом в подмосковном блиндаже? Спросить сейчас не у кого, да если б даже было, кто скажет, как оно на самом деле? Галя не стала жить с мачехой. Если б отец знал, что по этикету, усвоенному в Зязелге, она не могла согласиться сразу, позвал бы еще, дважды, трижды. Не позвал. Обиделся и алиментов не платил. Какие такие алименты? Мачеха пошла, порылась в Катерининых бумагах, нашла детские метрики, да и порвала все на мелкие кусочки: хрен вам! К осени Димитрий выходил в завкоме комнату в коммунальной квартире в Рабочем поселке, так называемом соцгороде. Туда на 14 метров и съехала Екатерина с детьми. Хорошая комната, с окном во всю стену. В квартире холодный водопровод и канализация. Печка общая на кухне. После этого оформили они развод и навсегда разошлись. Екатерина претензий не имела, а Димитрий рад был, что легко отделался. Галя не стала учиться на артистку. У нее пропал голос. Врачи говорили, психологическая травма. Потом голос вернулся, но совсем не такой, как прежде. Да и до учебы ли им было? Лизавета с Галей пошли работать, надо было поднимать Толика, содержать мать. Екатерина хоть и твердила одно свое «нам не дом домить, не богатство копить», а к столу садилась с большой охотой. С утра до вечера читала она молитвенник, на все вопросы и упреки отвечая одинаково: «Будет день — будет и пища». Устроилась однако на работу уборщицей в столовую для инвалидов. Шел какой-никакой стаж. Полы мыли девки, Толик стулья переворачивал. Мать за них молилась. Так и выжили.

Когда Галя вышла замуж за молодого человека из состоятельной семьи и родила красивую девочку, впервые за все годы пришла к отцу. Не сразу, а девочку подрастила немного, чтоб та стала забавная, говорить умела, чтоб уже ясно стало, что девочка очень хорошая получилась. Пошла она вместе со своим замечательным мужем к отцу и показала, какой внучки у него никогда не будет, потому что он подлец, предатель и не заслужил.

Девочка на самом деле была так себе, не в Галю пошла, а в мужнину родню. И муж тоже — так себе, не очень-то Галя была в него влюблена. Ухаживал настойчиво, она его и пожалела, поддалась. Семья мужа ей совсем не нравилась, такие все надменные, богатые, с домашним телефоном и собственным автомобилем, а по сути — лодыри, горя не знавшие. Свекровь даже на работу не ходила. Одни пирушки да сплетни на уме. Ничего Гале не нравилось из того, что случалось с ней после Зязелги. Потому что в Зязелге она жила, глядя не вокруг себя, а прямо в ослепительно сияющее будущее, состоявшее из трех понятных вещей: конец войны, папка на машине с арбузами, и сама она — артистка в туфлях.

«Вот если бы нас не бросил отец!» — любила говорить мама, и тетя Лиза, соглашаясь, качала головой. «Вот если бы у нас не отобрали мельницу!» — на это тетя Лиза воз-

ражала, что мельницу не могли не отобрать, потому что иметь не положено. «Да и отобрали не у нас», — справедливо уточняла тетя Лиза. «И все же, — упрямилась мама, — если бы у нас не отобрали мельницу, то и отец бы нас не бросил». Тетя Лиза не видела связи между мельницей и отцом, однако считала за благо согласиться и опять кивала головой, но как-то иначе. Со стороны ясно было, что тетя Лиза остается при своем особом мнении, просто избегает скандала на почве бессмысленной дискуссии.

— А что бы тогда было? — спросила я однажды.

— Все было бы по-другому, — отвечала мама. — Все по-другому!

Она смотрела мимо меня куда-то в иное, в свое несостоявшееся, в то, где ни меня, ни папы точно не было бы, и мне холодно становилось от ее взгляда. Я чувствовала себя очень виноватой перед мамой.

В жаркое июльское утро на окраине безобразной деревни Зязелги я вспомнила все разом и умылась слезами, укрывшись от деревенских взглядов в нашей замечательной новой машине по имени Ласточка-лачетти. Мы направлялись к теплому морю. Работал кондиционер, чтоб было не жарко, и магнитола — чтоб было не скучно.

— Знаешь, — сказала я мужу, который не вполне понимал, что происходит. — Когда мама говорила «я тебя ненавижу», я отвечала «а я тебя вижу».

Я еще порыдала какое-то время и сказала отчетливо: «Мама, я тебя вижу!»

Я действительно видела ее — всю как на ладони, видела и впервые понимала, за каким ослепительным светом она шла через войну, голод, нищету — через отвратительное бездушье Зязелги. Когда свет погас, все остальное уже не имело значения. Я ничего не могла исправить, но я теперь была свободна от вины перед мамой за то, что она не смогла меня полюбить. Я, конечно, лучше Зязелги, просто маме, навсегда ослепшей от своего детского горя, не дано было меня разглядеть.